



## *ПОСВЯЩАЮ*

*всем, кому не хватило жизни  
об этом рассказать.  
И да простят они мне,  
что я не всё увидел,  
не всё вспомнил,  
не обо всём догадался.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

# Тюремная промышленность

В эпоху диктатуры  
и окружённые со всех сторон  
врагами, мы иногда проявляли  
ненужную мягкость,  
ненужную мягкосердечность.

*Крыленко,  
речь на процессе  
«Промпартии»*

## Глава 1

### АРЕСТ

Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут корабли, гремят поезда — но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты Совтуриста и Интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет.

Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали.

Те, кто едут Архипелагом управлять, — попадают туда через училища МВД.

Те, кто едут Архипелаг охранять, — призываются через военкоматы.

А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно — через арест.

Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие?

Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас — центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: *«Вы арестованы!»*

Если уж *вы* арестованы — то разве ещё что-нибудь устояло в этом землетрясении?

Но затмившимся мозгом неспособные охватить этих перемещений мироздания, самые изошрённые и самые простоватые из нас не находятся в этот миг изо

всего опыта жизни выдать что-нибудь иное, кроме как:

— Я?? За что?!? —

вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный ещё до нас и никогда не получивший ответа.

Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, переplast из одного состояния в другое.

По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов — гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались — что за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть — а там-то и начинается — страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И ещё мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для нас! — и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белые мужские руки, не привыкшие к труду, но схватчивые, уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо — вволакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда.

Всё. Вы — арестованы!

И нич-ч-чего вы не находите на это ответить, кроме ягнячьего бляенья:

— Я-а?? За что??..

Вот что такое арест: это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошлое, а невозможное становится полноправным настоящим.

И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки.

Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это ошибка! Разберутся!»

Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире.

Это — резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это — бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это — за спинами их напуганный прибитый понятой. (А зачем этот понятой? — думать не смеют жертвы, не помнят оперативники, но положено так по инструкции, и надо ему всю ночь просидеть, а к утру расписаться. И для выхваченного из постели понятого это тоже мука: ночь за ночью ходить и помогать арестовывать своих соседей и знакомых.)

Традиционный арест — это ещё сборы дрожащими руками для уводимого: смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают: «Ничего не надо. Там накормят. Там тепло». (Всё лгут. А торопят — для страху.)

Традиционный арест — это ещё потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничанье в квартире жёсткой чужой подавляющей силы. Это — взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание — и нахламление горами на полу, и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребёнком. *Юристы* выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки\*. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым! У любителя старины Четверухина захватили «столько-то листов царских указов» — именно указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза и молебствие против холеры 1830 года. У нашего лучшего знатока Тибета

---

\* Когда в 1937 громили институт доктора Казакова, то сосу-  
ды с *лизатами*, изобретенными им, «комиссия» разбивала, хотя  
вокруг прыгали исцелённые и исцеляемые калеки и умоляли со-  
хранить чудодейственные лекарства. (По официальной версии,  
лизаты считались ядами — и отчего ж было не сохранить их как  
вещественные доказательства?)

Вострикова изыяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет!). При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи (а через 25 лет за расшифровку их посмертно присуждена покойному Ленинская премия). У Каргера замели архив енисейских остяков, запретили изобретенную им письменность и букварь — и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит об обыске так: *ищут, чего не клали*.

Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного — как Нина Александровна Пальчинская потащила за плечом мешок с бумагами и письмами своего вечно деятельного покойного мужа, великого инженера России — в пасть к *ним*, навсегда, без возврата.

А для оставшихся после ареста — долгий хвост развороченной опустошённой жизни. И попытка пойти с передачами. Но изо всех окошек лающими голосами: «такой не числится», «такого нет!» Да к окошку этому в худые дни Ленинграда ещё надо пять суток толпиться в очереди. И только может быть через полгода-год сам арестованный аукнется или выбросят: «Без права переписки». А это уже значит — навсегда. «Без права переписки» — это почти наверняка: расстрелян.

Одним словом, «мы живём в проклятых условиях, когда человек пропадает без вести и самые близкие люди, жена и мать... годами не знают, что случилось с ним». Правильно? нет? Это написал Ленин в 1910 году в некрологе о Бабушкине. Только выразим прямо: вёз Бабушкин транспорт оружия для восстания, с ним и расстреляли. Он знал, на что шёл. Не скажешь этого о кроликах, нас.

Так представляем мы себе арест.

И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полусонной беспомощности, рассу-

док его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах: их приезжает несколько вооружённых против одного, недостегнувшего брюк; за время сборов и обыска наверняка не соберётся у подъезда толпа возможных сторонников жертвы. Неторопливая постепенность прихода в одну квартиру, потом в другую, завтра в третью и в четвёртую, даёт возможность правильно использовать оперативные штаты и посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют.

И ещё то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не событие. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, — днём шагает молодое племя со знаменами и цветами и поёт неомрачённые песни.

Но у *берущих*, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них — большая теория, не надо думать в простоте, что её нет. Арестознание — это важный раздел курса общего тюрьмоведения, и под него подведена основательная общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные; домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчленённые и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьёзности заданного обыска; по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо ещё и стариков в лагерь.

И ещё отдельно есть целая Наука Обыска (и мне удалось прочесть брошюру для юристов-заочников Алма-Аты). Там



очень хвалят тех юристов, которые при обыске не поленились переворошить 2 тонны навоза, 6 кубов дров, 2 воза сена, очистили от снега целый приусадебный участок, вынимали кирпичи из печей, разгребали выгребные ямы, проверяли унитазы, искали в собачьих будках, курятниках, скворечниках, прокалывали матрасы, срывали с тел пластырные наклейки и даже рвали металлические зубы, чтобы найти в них микродокументы. Студентам очень рекомендуется, начав с личного обыска, им же и закончить (вдруг человек подхватил что-либо из обысканного); и ещё раз потом прийти в то же место, но в новое время суток — и снова сделать обыск.

Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926) два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повёз её... прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927 на Кузнецком мосту полнолицую русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, какой-то молодой франт подсаживает на извозчика (а извозчик уже понимает и хмурится: *Органы* не заплатят ему) — то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въедут в чёрную пасть ворот. И если (двадцать две весны спустя) кавторанг Борис Бурковский, в белом кителе, с запахом дорогого одеколона, покупает торт для девушки — не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесён кавторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдьи. Однако он исполняется чисто и — вот удивительно! — сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обречённого.

Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь (а если уж стучит, то «управдом», «почтальон»), не всякого следует арестовывать

и на работе. Если арестуемый злоумышленник, его удобно брать в отрыве от привычной обстановки — от своих семейных, от сослуживцев, от единомышленников, от тайников: он не должен успеть ничего уничтожить, спрятать, передать. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Какой женибудь безвестный смертный, замерший от повальных арестов и уже неделю угнетённый исподлобными взглядами начальства, — вдруг вызван в местком, где ему, сияя, преподносят путёвку в сочинский санаторий. Кролик прочувствовался — значит, его страхи были напрасны. Он благодарит, он, ликуя, спешит домой собирать чемодан. До поезда два часа, он ругает неповоротливую жену. Вот и вокзал! Ещё есть время. В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликают симпатичнейший молодой человек: «Вы не узнаете меня, Пётр Иваныч?» Пётр Иваныч в затруднении: «Как будто нет, хотя...» Молодой человек изливается таким дружеским расположением: «Ну как же, как же, я вам напомню...» и почтительно кланяется жене Петра Иваныча: «Вы простите, ваш супруг через *одну минутку*...» Супруга разрешает, незнакомец уводит Петра Иваныча доверительно под руку — навсегда или на десять лет!

А вокзал снуёт вокруг — и ничего не замечает... Граждане, любящие путешествовать! Не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер.

Эта назойливость мнимых знакомых так резка, что человеку без лагерной волчьей подготовки от неё как-то и не отвязаться. Не думайте, что если вы — сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Долган, то вас не могут арестовать среди бела дня на улице Горького близ Центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув грабастые руки: «Са-ша! — не таятся, а просто кричит он. — Керюха! Сколько лет, сколько зим?!.. Ну, отойдём в сторонку, чтоб людям не мешать». А в сторонке-то, у края тротуара, как раз

«победа» подъехала... (Через несколько дней ТАСС будет с гневом заявлять во всех газетах, что компетентным кругам ничего не известно об исчезновении Александра Долгана.) Да что тут мудрого? Наши молодцы такие аресты делали в Брюсселе (так взят Жора Бледнов), не то что в Москве.

Надо воздать Органам заслуженное: в век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими с конвейера, — аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону в заводской проходной, после того как вы себя удостоверили пропуском, — и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с температурой 39° (Анс Бернштейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробовал бы он возразить!); вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы желудка (Н. М. Воробьёв, инспектор крайнаробраза, 1936) — и еле живого, в крови, привозят в камеру (вспоминает Карпунич); вы (Надя Левитская) добиваетесь свидания с осуждённой матерью, вам дают его! — а это оказывается очная ставка и арест! Вас в «Гастрономе» приглашают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счётчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофёр такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор — все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запятанное бордовое удостоверение.

Иногда аресты кажутся даже игрой — столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии, а ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Хотят ли оперативники так оправдать свою службу и свою многочисленность? Ведь кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки — и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к чёрным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. (Да колхозников так и берут, неужели ещё ехать к его хате ночью

по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут. Чернорабочего вызывают в контору.)

Конечно, у всякой машины свой заглот, больше которого она не может. В натужные налитые 1945—46 годы, когда шли и шли из Европы эшелоны и их надо было все сразу поглотить и отправить в ГУЛАГ, — уже не было этой избыточной игры, сама теория сильно полиняла, облетели ритуальные перья, и выглядел арест десятков тысяч как убогая переключка: стояли со списками, из одного эшелона выкликали, в другой сажали, и вот это был весь арест.

Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление (при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное), что от ГПУ-НКВД убежать невозможно. И даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, всякий день прощались с семьёй, ибо не могли быть уверены, что вернуться вечером, — даже тогда они почти не бежали (а в редких случаях кончали с собой). Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам.

Это происходило ещё от непонимания механики арестных эпидемий. Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора — какого человека арестовать, какого не трогать, а лишь достигали контрольной цифры. Заполнение цифры могло быть закономерно, могло же носить и совершенно случайный характер. В 1937 году в приёмную новочеркасского НКВД пришла женщина спросить: как быть с некормленным сосунком-ребёнком её арестованной соседки. «Посидите, — сказали ей, — выясним». Она посидела часа два — её взяли из приёмной и отвели в камеру: надо было спешно заполнять число, и не хватало сотрудников рассылать по городу, а эта уже была здесь! Наоборот, к латышу Андрею Павлу под Оршей пришлось НКВД его арестовать; он же, не открывая двери, выскочил в окно, успел убежать и напрямик уехал в Сибирь. И хотя жил он там под своей же фамилией,

и ясно было по документам, что он — из Орши, он никогда не был посажен, ни вызван в Органы, ни подвергнут какому-либо подозрению. Ведь существует три вида розыска: всесоюзный, республиканский и областной, и почти по половине арестованных в те эпидемии не стали бы объявлять розыска выше областного. Намеченный к аресту по случайным обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно А. Павлу, и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой и имевшие смелость в те же часы бежать, ещё до первого допроса, — никогда не ловились и не привлекались; а те, кто оставались дожидаться справедливости, — получали срок. И почти все, подавляюще, держались именно так: малодушно, беспомощно, обречённо.

Правда и то, что НКВД при отсутствии нужного ему лица брало подписку о невыезде с родственников и ничего, конечно, не составляло *оформить* оставшихся вместо бежавшего.

Всеобщая невинность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё и *не возьмут*? Может, обойдётся? А. И. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В 37-м году на базаре к нему подошёл мужик и от кого-то передал: «Александр Иваныч, уезжай, ты в *списках!*» Но он остался: ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся — как же они могут меня взять?.. (Через несколько дней арестован.) Не каждому дано, как Ване Левитскому, уже в 14 лет понимать: «Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и меня посадят». (Его посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен — то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся — выпустят!» Других сажают по-вально, это тоже нелепо, но там ещё в каждом случае остаются потёмки: «а может быть, *этот* как раз...?» А уж ты! — ты-то наверняка невиновен! Ты ещё рас-

сматриваешь Органы как учреждение человечески логичное: разберутся — выпустят.

И зачем тебе тогда бежать?.. И как же можно тебе тогда сопротивляться?.. Ведь ты только ухудшишь своё положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то что сопротивляться — ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали.

Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернётся ли он живым, и попрощался бы со своей семьёй? Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придётся? Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут, — так не ошибёшься, хрястнув по душегубцу. Или тот воронёк с одиноким шофёром, оставшийся на улице, — угнать его либо скаты проколоть. Органы быстро бы недосчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, — остановилась бы проклятая машина!

Если бы... если бы... Мы просто заслужили всё дальнейшее.

И потом — чему именно сопротивляться? Отобранию ли у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? переступить через порожек дома? Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков — и ни из-за какого в отдельности как будто нет смысла спорить (когда мысли арестованного выются вокруг великого вопроса: «за что?!»), — а все-то вместе эти околичности неминуемо и складываются в арест.

Да мало ли что бывает на душе у свежearестованного! — ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19-летнюю Евгению Дояренко и три

молодых чекиста рылись в её постели, в её комод с бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не найдут. И вдруг они коснулись её интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать, — и это чтение её строк враждебными чужими парнями поразило её сильнее, чем вся Лубянка с её решётками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильнее политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не подготовленный к насилию, всегда слабей насильника.

Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологического института Академии Наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1949 году, забаррикадировался и два часа жёг бумаги.

Иногда главное чувство арестованного — облегчение и даже... радость, особенно во времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой всё что-то не идут, всё что-то медлят — ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души. Василий Власов, безстрашный коммунист, которого мы ещё помянем не раз, отказавшийся от бегства, предложенного ему безпартийными его помощниками, изнемогал оттого, что всё руководство Кадыйского района арестовали (1937), а его всё не брали, всё не брали. Он мог принять удар только лбом — принял его и успокоился, и первые дни ареста чувствовал себя великолепно. — Священник отец Иеракс (Бочаров) в 1934 поехал в Алма-Ату навестить ссыльных верующих, а тем временем на его московскую квартиру трижды приходили его арестовывать. Когда он возвращался, прихожанки встретили его на вокзале и не допустили домой, 8 лет перепрыгивали с квартиры на квартиру. От этой загнанной жизни священник так измучился, что, когда его в 1943 всё-таки арестовали, — он радостно пел Богу хвалу.

В этой главе мы всё говорим о массе, о кроликах, посаженных неведомо за что. Но придётся нам в книге ещё коснуться и тех, кто и в новое время оставался

подлинно *политическим*. Вера Рыбакова, студентка социал-демократка, на воле *мечтала* о Суздальском изоляторе: только там она рассчитывала встретиться со старшими товарищами (на воле их уже не оставалось) и там выработать своё мировоззрение. Эсерка Екатерина Олицкая в 1924 даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму: ведь её прошли лучшие люди России, а она ещё молода и ещё ничего для России не сделала. Но и *воля* уже изгоняла её из себя. Так обе они шли в тюрьму — с гордостью и радостью.

«Сопrotивление! Где же было ваше сопротивление?» — бранят теперь страдавших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста. Не началось.

---

И вот — вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас — неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнажёнными пистолетами, — *ведут* сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы кричать! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами! И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши оцетинились бы? может, аресты не стали бы так легки!?

В 1927, когда покорность ещё не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской площади днём два чекиста пытались арестовать женщину. Она охватила фонарный столб, стала кричать, не даваться. Собралась толпа. (Нужна была такая женщина, но нужна ж была и такая толпа! Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо!) Расторопные эти ребята сразу смутились. Они не могут *работать* при свете общества. Они сели в автомобиль и бежали.



(И тут бы женщине сразу на вокзал и уехать! А она пошла ночевать домой. И ночью отвезли её на Лубянку.)

Но с *ваших* пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая толпа безпечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей.

Сам я много раз имел возможность кричать.

На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною (на меня за долгую дорогу они уже положились), привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы — добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта и теперь под предлогом конвоирования меня отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо всякой охоты тащил я, в нём везлись мои дневники и творения — улики на меня.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я её путал с министерством иностранных дел).

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали (в следовательских обманах, угрозах, битье; в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад; в неотклонимости *десятки*), — я чудом вырвался вдруг и вот уже четыре дня еду как *вольный* и среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параша, хотя глаза мои уже видели избитых и безсонных, уши слышали истину, рот отведал баланды — почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту?

Я молчал в польском городе Бродницы — но может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но может быть, поля-

ков это всё не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск — но она была малолюдная. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому перрону — но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусская»-радиальная, он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания — тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины — так что ж я молчу?!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

Одни ещё надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить (ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира, мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту и ухудшить её нельзя). Другие ещё не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу, а откуда они у смиренного, ни в чём не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И наконец, ещё есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких безсвязных выкриках.

А я — я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало — мало! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю.

И ещё я в Охотном ряду смолчу.

Не крикну около «Метрополя».

Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади...

\* \* \*

У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралём он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, — и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны.

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, — и вдруг из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату и, четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

— Вы — арестованы!!

И, обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёлся ничего умней, как:

— Я? За что?!..

Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно — я его получил! Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу — раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне — да! через этот глухой обруб между остававшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, — перешли немыслимые, сказочные слова комбрига:

— Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось — стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из *мешка*, где оставался его огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею — и вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

— У вас... — веско спросил он, — есть друг на Первом Украинском фронте?

— Нельзя!.. Вы не имеете права! — закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы — и готовясь дать на комбрига *материал*). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному, он никогда мне её не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица сказал безстрашно, раздельно:

— Желаю вам — счастья — капитан!

Я не только не был уже капитаном, но я был разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он желал счастья — врагу?..

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напоминая, что *этого* не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпа-

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Году в тысяча девятьсот...</i>	7
<i>В этой книге нет ни вымышленных...</i>	9
<i>Эту книгу непосильно было бы...</i>	10
<i>Свидетели Архипелага...</i>	12

### Часть Первая

#### ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

<i>Глава 1. Арест</i>	21
<i>Глава 2. История нашей канализации</i>	41
<i>Глава 3. Следствие</i>	112
<i>Глава 4. Голубые канты</i>	161
<i>Глава 5. Первая камера — первая любовь</i>	194
<i>Глава 6. Та весна</i>	249
<i>Глава 7. В машинном отделении</i>	297
<i>Глава 8. Закон-ребёнок</i>	319
<i>Глава 9. Закон мужает</i>	360
<i>Глава 10. Закон созрел</i>	399
<i>Глава 11. К высшей мере</i>	457
<i>Глава 12. Тюрзак</i>	482

### Часть Вторая

#### ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

<i>Глава 1. Корабли Архипелага</i>	511
<i>Глава 2. Порты Архипелага</i>	551
<i>Глава 3. Караваны невольников</i>	581
<i>Глава 4. С острова на остров</i>	601
Содержание глав	626

**Солженицын А.**  
С 60 Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956 : Опыт художественного исследования. Ч. I—II / Александр Солженицын ; под ред. Н. Д. Солженицыной. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 640 с. : ил. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-02353-6 (ч. I—II)

ISBN 978-5-389-02354-3 (комплект)

Александр Солженицын — выдающийся русский писатель XX века, классик отечественной литературы, лауреат Нобелевской премии («За нравственную силу, с которой он продолжил традиции великой русской литературы», 1970).

В настоящем издании представлен «Архипелаг ГУЛАГ» — всемирно известная документально-художественная эпопея о репрессиях в годы Советской власти.

«...Книга — о крови, о поте, о слезах, о страданиях, о безнадёжности, а ее закрываешь с ощущением силы и света. Она показывает: человек во всех обстоятельствах может остаться человеком. Дает ощущение, что наш народ не кончился, мы прошли нижнюю точку, мы прошли катарсис. Исправлять жизнь будет трудно, но возможно» (Н. Д. Солженицына).

В настоящий том вошли части I—II.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание  
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

1918–1956

*Опыт художественного исследования*  
Части I–II

Художественный редактор Валерий Гореликов  
Технический редактор Татьяна Раткевич  
Компьютерная верстка Александра Савастени  
Корректор Станислава Кучепатова  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 15.02.2019. Формат издания 75 × 100 1/32.  
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 28,2. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А  
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua  
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт».  
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.  
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах  
на сайтах: [www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru), [www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества  
размещена по адресу: [www.azbooka.ru/new\\_authors/](http://www.azbooka.ru/new_authors/)



Y-AKB-6408-11-R